

Галина Николаевна
ЩЕРБАКОВА
1932 – 2010

Галина
ЩЕРБАКОВА

Вам и не снилось

Повести



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Щ 61

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

- © А. С. Щербаков (наследник), 2018
- © ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», 2018
- © Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-09396-6

НА ВАС УПОВАЮ

Боюсь наврать. Хотя это тот самый случай, когда вранье безобидно и недоказуемо. Оно в моей голове, и только, ну и попробуй туда проникнуть и отделить плевелы от зерен. Может, пьяные плевелы и есть самое то, из чего растут стихи и проза. И зерна при них отдыхают, ибо скучны и в деле фантазии неплодовиты.

Мне-то всего ничего надо написать — некое предисловие к двум собственным сочинениям: «Вам и не снилось» и «Мальчик и девочка». От написания первого отделяет тридцаток лет, от второго три года. Оба уже легли на дно памяти. И мне их надо поднять, чтобы вспомнить их зачатие. Таков замысел издателя.

У меня хозяйство неплановое — стихийное. Рассказы приходят без разрешения и стука, они спугивают так славно расположившихся героев и замарывают первую, всегда написанную красиво строчку. И я мечусь между теми (первыми) и ворвавшимися без стука вторыми. Эта суматоха мне радостна, она меня бодрит. И я, как девочка в лесу, где не страшно, а интересно, где неспешно идет время, день, два, четыре, пока они сами решат, кому со мной остаться, первым или вторым. Или потесниться для вдруг пришедшего третьего. И однажды я просыпаюсь и сама зачеркиваю первую красивую строчку — такая оказывается она дура. И несет меня новый ветер, и шепчутся другие слова. И вспомню ли я когда ту зачеркнутую строчку?

Могу и вспомнить, и увидеть, что она была вполне ничего собой. Так, наверное, возвращаются к брошенному мужу, который так уж был нехорош, что и говорить не стоило, а нет... Стоит только пройти времени, и ты уже другая, и он уже другой.

А может, пример с мужем глуп. Просто в горшке, вынесенном на балкон, давно засох фикус. И ты поставила на его место кокетливую гортензию, а потом вышла на балкон — и о боже! — фикус дал росток. Такой крепенький зеленый лист. И такая радость, и счастье.

Все! Я объяснила вам мой способ рожать мои строчки. И не буду больше бояться соврать. История с долей вранья всегда была интересней. А может, что и правда, которую я подыму из памяти, будет хороша собой и без плевел.

Посмотрим.

«Когда б вы знали, из какого сора...»

...Я иду вдоль длинного щелястого забора по хорошо утоптанной траве и позваниваю алюминиевыми судками. Я иду за обедом. Если учесть, что я на дух не переношу столовскую и даже ресторанный пищу, что место у плиты и домашняя стряпня всю жизнь для меня святы, то значит, со мной что-то случилось, раз я так пала — кормлюсь из общего котла «правдинской» столовой, скорее даже — полевой кухни, которая готовит обед для дачников-правдистов высокого звена. Такая, блин, у них привилегия. Все довольны, всем хорошо. Свободное от стояния в очереди магазинов, а потом у плиты время дамы-правдистки отдают прогулкам на «водосброс» или на старицу речки Уча, но чаще — в Акулово, где есть маленький магазинчик с польскими кофточками, венгерскими, на кнопках, платьями и духами «Быть может...». Все панамистые, сарафанистые, с букетиками растущих вольно цветов дамы изображают очень поношенный, но все-таки высший свет эпохи семидесятых. Ленину в гробу недавно исполнилось сто лет, и он совершенно не изменился,

а одна ретивая партийка объясняет нам в очереди за супом харчо и биточками с вермишелью, что, на ее взгляд, — а она ходит в Мавзолей каждый апрель — вождь даже помолодел: «Хорошо за ним смотрят».

— Да это ты, дура старая, постарела и поглупела вконец, если тебе покойники молодыми кажутся.

Эти две партийки — антиподы и всегда в состоянии схватки и друг с другом, и со всеми окружающими.

— Женщина, — говорит мне та, у которой Ленин молодеет, — спину-то можно было бы и прикрыть. У нас тут дети живут.

Далась человечеству моя спина. Когда я была совсем молода и недурна собой, в Ростове-на-Дону меня едва не выкинули из трамвая именно за открытую спину. Ростовчанки — женщины темпераментные, а я спиной своей с загорелой ложбинкой между изящными, а не грубыми и мосластыми лопатками, конечно, хвасталась. Мне, еще маленькой, мама говорила, что, кроме других достоинств, у меня есть редкое — спина.

— Вот из-за таких заголенных мужики и бегают от законных жен...

Я тогда выпрыгнула из трамвая. И долго шла рядом с ним (он еле-еле плелся), гордясь спиной и недоступностью для крутых баб.

Но ведь то было когда... А сейчас я с судками, мне вот-вот сорок брякнет. У меня нет ног до ушей, нет сексуально вывороченных губ, у меня на самом деле, может, товарна только спина. И как там она у меня открыта? Треугольничком от плечей до талии, но почему-то стервенеют ленинки! Но сейчас я не в трамвае, я в очереди, и, фиг вам, я не выйду из нее.

Кончается баночная селедка, а я третья в очереди. К тому же у меня появляется защита, какая-то молодая женщина посылает старух жить к мусульманам, вот бы где они словили кайф в черных тряпках, закутанные от и до, что и носа не видать. Я уже не слушаю, мне запол-

нили судки, выдали две селедки, и я иду назад, повернувшись к ним своей грешной спиной.

Так вот... Что же довело меня до жизни со столовской кормежкой? Руки у меня, что ли, отсохли или газу нет именно в моей собачьей будке? Нет, все не так. Все величественно и прекрасно — я пишу повесть про любовь. У меня уже лежит в столе роман «Провинциалы в Москве» и еще тройка повестей, но они, увы, не ко времени ленинской молодости. Они скулежные, недовольные временем, мне, видите ли, кое-что в родине моей не нравится, и я если и люблю ее, то «странную любовь». Сейчас же я занята не странной любовью к странной родине, а самой что ни на есть человеческой и юношеской. И помогают мне в этом занятии пейзаж для привилегированной журналистики и персональное харчо. Я в упор не вижу вычерневшие раковины и «толчки», списанные и привезенные сюда из мест, что для высокого ареопага (Барвихи там или что еще?). Я думаю о таких глупостях только в плохое время дороги, вспоминая возвращенные мне из издательств сочинения. Я ведь приняла решение после всех суровых ответов не трогать то, что мне не нравится в отечестве больном и глупом, я буду писать только про любовь, которая тоже бывает больная и дура душой, но она, даже всякая-разная, — все-таки любовь, и ею советское отечество сроду не интересовалось. Оно даже не знало слова «секс».

От будущей повести у меня теплеет в животе, сжимается горло и подрагивают коленки. А вот и «спецучасток» Мамонтовки, где мне выпала честь жить... Навстречу, распахнув руки, бежит дочь, и я едва не роняю судки от ее жарких объятий. Могло ли мне прийти в голову, что, когда ей будет столько лет, сколько мне в момент несения судков, она скажет, что я испортила ей жизнь, что мы с отцом виноваты, что она ничего не добилась. В общем, такое мне и не снилось тогда, когда она обнимала меня крепко-крепко. Пройдет время, я отплачусь и напишу историю глупости, слепоты и жестокости, вырос-

ших на месте любви. А пока же сажусь на веранде, смотрю на свою тогда обожаемую умницу-дочь, а сама пишу о девочке, которая рисует себе мысленную диагональ, по которой ей легче всего было бы спускаться в новую школу, а по жизни приходится топтать и топтать по рытвинам строек.

Пишу о девочке, но думаю я о сыне. Это он в то время идет по хрустким доскам первой любви, и я так хорошо чувствую возможность облома, провала под его ногами. И молю о ветке, которой он спасется. Зеленая дурочка должна появиться ровно в тот момент, когда понадобится мальчику. У сына была не ветка, а жестяная труба с крыши, которая гремит весной падающим по ней льдом, а осенью шумит ливнем, возбуждая холодающее чувство потопы.

Так вот, мой сынок, пока мы с отцом отогревались на Черном море, решил объясниться в любви девочке, взобравшись к ней на шестой этаж. Он таки влез, оставил на балконе соответствующие слова, что-то типа «возьми меня навсегда на воспитание», и стал спускаться. Хлипкая жестянка в конце концов не выдержала веса шестнадцатилетнего дурня и стала распадаться на составные. Но Бог его хранил, это было уже недалеко от земли, и он сумел, спружинив, спрыгнуть, даже не поломав ноги.

Мы вернулись с моря. О происшедшем нам рассказал не сын, а чужие люди, нас охватил ужас неслучившегося, и на этом ужасе и завязалась история. Я вспомнила свое детство, как тенью ходил за мной мальчик, имя которого я так и не узнала. Помню кепочку, надвинутую на глаза, и легкое посвистывание. Ни разу не встал лицом к лицу, просто ходил весь мой девятый класс, и я так и не узнала ни кто он, ни откуда. Мои подружки дали ему обидную кличку, ах как жаль, что я ее забыла. Знаю, она была обидная, то ли «каша, которая свистит», то ли «говнистый свисток», но не это, какое-то другое — одно — слово... Да бог с ним.

Но два мальчика, сегодняшней и когдатошней, родной и абсолютно мне неизвестной, высекли из меня искру. И я села писать повесть о любви. У нее не было названия, но имена были сразу — Роман и Юлька. Писалось легко, радостно, так как я больше всего люблю, когда не знаю ни следующей фразы, ни, тем более, чем все кончится. В сущности, это как полет птицы в небе, не ведающей, насколько она взметнется вверх, равно как низко на застывших крыльях сядет на землю, дерево ли, крышу.

Замечания по тексту я принимала только от мужа, я давно знаю, что он лучше меня понимает мои «законы» и сумеет поймать меня в каком-нибудь совсем уж завиральном полете слов и мыслей.

Короче, то лето в Мамонтовке было летом Романа и Юльки, а также судов и детских праздников, на которых дети рядились кто во что, а мамы или пекли сами, или что-то сладкое несли из магазинов.

В сущности, это был счастливый период, и уже сейчас я задаю себе вопрос: почему меня неведомой силой вело, тянуло в трагедию, в гибель мальчика? Если было так все хорошо. И еще была жива моя мама. Я ведь только после ее смерти поняла простую, как мычание, мысль: после мамы — ты следующий. Мама — оплот и защита, даже если живет от тебя на краю света. Высшими нитями она держит, охраняет тебя, мы остаемся в ней, даже когда выходит послед и последняя капля крови от твоего рождения. Она все равно держит в себе и память зачатия, и места прилежания, и возникновение твоей сущности, и первый толчок. Связаны пуповиной? Да нет же! Пуповина — материальная составная, перерезали — и делу конец. Тут что-то большое, надмирное. Я помню толчки собственного сына и толчки дочери, я помню боль их рождения, которая одновременно и самое большое счастье. Но ведь ничего не бывает случайно. И боль, и толчки — это знаки судьбы, они всегда с тобой, они — оберег. А однажды мама уходит навсегда, и дети — взрослые, почти старые, остаются мокрые и голенькие, как если бы

мать умерла еще там, на родовом столе. Нет сильнее одиночества, чем одиночество после смерти мамы. Ах как мне жалко детей, которые в силу молодой дури не подозревают об этом.

Так вот, вернемся к повести. Я, счастливая в ту пору балда, взяла и сбросила мальчика из окна, не зная, что поплачусь за это. Смертью мамы. Но сначала были испуганные трагическим финалом редактора. Тогда не было принято погибать за любовь. Вот разбиться, поправляя покосившийся портрет Ленина на шестиэтажном доме, — это да, это хорошая, высокая смерть. Погибнуть в горящем тракторе, пытаюсь его потушить, хотя спрыгнуть с него — дело секундное, — тоже красиво. Машина важнее человека. Но чтобы из-за девчонки-недомерка, которая, живехонькая, стоит внизу, навернуться с подоконника — так это бред сивой кобылы. Так мне и было сказано.

И три года лежала в «Юности» повесть, и юные редактрисы жалели меня всем сердцем и, как могли, защищали в редакционных баталиях повесть о любви.

От отчаяния я заслонила третий экземпляр повести в желтый конверт, в котором приходил журнал «Америка», и написала, аки Ванька Жуков: «Студия имени Горького, Герасимову».

И тут в системе управления судьбами людей и романов щелкнул таинственный тумблер, и стрелка указала на меня. Некто отвечающий за глупое человечество посмотрел и задумался: что же со мной делать? Наехать трамваем или дать высокую должность в журнале?.. Убивать меня было почему-то жалко, а от должности указанная стрелка как-то отклонялась.

Со мной надо было что-то решать. Пришлось высшим силам вникнуть в ситуацию. И на следующий день после отсылки конверта на студию меня вызвал Борис Полевой, главный редактор «Юности», где написанная повесть и лежала уже года три. Я поняла, что это конец. Певец безногого героя, преодолевшего все и вся, а тут ни-

какой себе мальчик-размазня. Куда это годится? Это было бы повержением устоявшихся принципов умирания в мирной жизни, ну там, как я уже говорила, во имя портрета, трактора, да мало ли за что должно и нужно умереть красиво, а главное — правильно. А значит, мне должны окончательно вернуть повесть. И это сделает Сам.

Боюсь ошибиться и обидеть, но смоляной цвет волос Полевого как-то заставил тогда подумать о краске басма. Ничего себе штучка (я)! Позвали к такому лицу, а я воображаю пошлые глупости. Конечно, меня надо выставить, и навсегда.

Но если цвет волос еще вызывал чисто парикмахерские мысли, то ярко-зеленый шарфик на шее с боковым бантиком не оставлял места для сомнений: дедушке-редактору хотелось быть красивым в свои семьдесят с хвостиком, хотелось быть молодым, и я ощутила слабую надежду, что не сдающийся возрасту мужчина что-что, а любовь понять сможет.

Но была повергнута ниц.

— Я был под Сталинградом, — сказал он мне с гордым достоинством, — я много видел смерти и никогда не был трусом. — Это было прочеканено, едва я уселась краешком юбки на краешек стула. Полагалось ли мне что-то ответить на это? Пожать ему руку или просто восхищаться, что он такой прекрасный? Или воскликнуть: «Я знаю, я знаю, другой бы человек не смог написать так про войну».

Но я уперлась глазом в зеленый шарфик и думала, что этот оттенок зеленого очень подходит к его смоляным кудрям. Я тоже брюнетка, но мама всю жизнь долдонила мне, что брюнеткам зеленый цвет не идет, он их старит. После встречи с Полевым я изменила взгляд на мир. Я теперь сочетаюсь с зеленым.

Так вот, он повторил мне еще и еще, что он «не трус». Я же молчала, «как рыба об лед». И тогда он произнес фразу, которая и была смыслом нашей с ним встречи.

— Я не трус, — тихо и даже как-то виновато произнес он, — но я боюсь. Я боюсь, что после вашей повести мальчики начнут прыгать из окон. Вы не боитесь?

Честно говоря, мне ничего подобного в голову не приходило. Я не знала статистики бросков под поезд после Анны Карениной, прыгания с обрыва после Катерины, самоубийств имени Треплева и прочая, и прочая. У меня как-то изначально мухи от котлет были отделены.

Но он говорил и говорил, он взывал к моей совести и родительской жалости, он прямо намекал на моих собственных детей, которых я могу толкнуть к беде. «Кто кого», — думала я. И даже хотела рассказать ему, что мой сын еще до моей повести карабкался по жестяной трубе и едва не сломал себе шею. Но не стала. Я услышала не голос — шепот.

— Вам изменить-то надо всего одну фразу — и мы поставим повесть в номер.

Честно, я не помню, как дословно выглядел тот, первый конец. Но — без вариантов — мальчик погибал, а девочка рыдала на его груди. И где-то там звучала музыка «скорой помощи».

Автор — человек слабый и незащитный и кофе очень часто пьет без всякого удовольствия. Еще он бедный и тщеславный. Ему, сволочи-автору, до коллик в животе хочется быть опубликованным, а ради счастья оказаться в следующем номере он перепишет фразу, пропади она пропадом.

— Попробую, — сказала я. И прямо в полутемном коридоре «Юности» на собственном колене я внесла правку. Она была двусмысленна и лукава, но это не от игры моего ума — ум отсутствовал; возможно, он продолжал беседу с Полевым, а дело сделала коленка: она дрожала и оставила героя в состоянии неопределенном. Не смерти, а скорее жизни.

Никто больше не вникал после указаний Полевого, и повесть отправили встать в очередь следующего номе-

ра — сентября 1979 года. Двадцать пять лет прошло — а я нет-нет и опять наталкиваюсь на письма с жгучим вопросом: «Погиб Роман или нет? Ответьте, пожалуйста. Мы тут все плачем от неизвестности».

Советская идеология — страшная вещь. Но и на старуху бывает проруха. «Юность» радовалась — никогда она не получала столько писем, и даже таких: «Просим опубликовать повесть еще раз».

Откуда мне было знать, что этот момент был моментом высшей моей славы, что никогда больше я не буду так известна и знаменита. Что со всей великой Союзии будут приезжать люди, звонить в дверь, хоть и в шесть часов утра («Так мы ж прямо с поезда»), чтоб рассказать, как любил Петя Настю, а «эти сволочи-родители... Напишите про них, Галина Николаевна! Очень вам будем благодарны». И доставалось то вино молдавское, то сало полтавское, то грибы, то клюква. Такое замечательное время чистого бескорыстия.

Одновременно... Одновременно с ключевым участием коленки в судьбе повести, когда я в тот день вернулась домой, раздался телефонный звонок. И голос известно-неизвестный произнес фразу почти что прямо из Булгакова: «Мы прочитали ваш роман... Он передан с рекомендацией в такой-то отдел. Это Тамара Федоровна Макарова».

Слишком много для одного дня. Ибо вскоре раздался еще один звонок, и человек сказал: «Я — Фрэнз. Запомните: я позвонил первым. Я хочу снимать вашу повесть. Вы будете сами писать сценарий? Или?..»

Какое могло быть «или»? Я села за киносценарий, абсолютно не представляя, как делается это варево. Фрэнз пугался моей бестолковости. Норовил дать мне в подручные кого-нибудь из маститых, но я отбивалась, как мушкетер, проходя эту науку методом проб и ошибок. В конце концов какой-то вариант устроил режиссера.

Измученная работой, я вместе с мужем и дочерью поехала отдохнуть в Сочи. Надо сказать, что следующий

номер «Юности» еще был в работе и до верстки у меня было какое-то время. Я оставляю в редакции адрес санатория и адрес мамы, к которой собираюсь заехать на обратном пути на пару дней. Мало ли что? По идее, мне хочется жить и ночевать в типографии, а не мчаться на какие-то берега. Меня увозят силой, но я, как какой-то хитромудрый Мальчик-с-пальчик из сказки, разбрасываю за собой камни, крошки, по которым меня можно найти и вернуть. О кино я не думаю. Мне нравится мой сценарий. Фрэзу тоже. О системе прохождения сценариев в Госкино я, конечно, слышала, но не вникала. У меня на выходе повесть. Что может быть важнее этого? Кто сможет теперь меня остановить в каком-то Госкино, если я пропущена через зеленый шарфик самого Полевого?

На обратной дороге мы заезжаем к моей болеющей маме. Она машет мне телеграммой, где мне предлагают срочно поменять название повести. Убейте меня, но я не помню, как она называлась сначала. Присев рядом с мамой, я опять и снова на коленках пишу десять или двадцать названий и бегу на почту звонить в редакцию. На маминой кровати лежат два журнала — «Дон» и «Знамя», в них — единственные мои публикации. Она тут же начинает волноваться за меня, а я весь этот крошечный остаток дня трачу на то, что пишу и пишу названия.

На следующий день я продолжаю быть полусумасшедшей, не зная главного: что этот день — последний день жизни моей мамы. Утром я слышу ее неожиданно молодой голос, отдающий отчиму распоряжения, чем нас кормить. И этот голос мамы — привычный, без прерывающегося дыхания, а совсем молодой, почти юный, сбивает меня с толку. И вместо того чтобы провести этот день из минуты в минуту с ней, не расставаясь, а вдыхать ее запах, и слушать, и слушать все ее слова, и вникать в них, постигать их окончательность, я, как идиотка, снова бегу на почту с новым списком названий, а мне говорят, что я свободна как ветер, что название взято из повести, прямо с первой странички выскочило, классное такое

название — «Вам и не снилось». Я в ужасе кладу трубку. Какой кошмар! Где у меня эти слова? Да нет их сроду. И что они вообще значат?

Весь день, последний мамин день, я обсуждаю эту дурь — название повести.

— Да неплохо, доченька, — говорит она мне. — Со всем неплохо.

А я спорю. Я смею спорить! Я слепа. Я глуха. Я не вижу. Я не чувствую.

А говори мы о другом — о ней, а послушай я ее обиды, что редко ей пишем, что соседка все время зовет в свой дом отчима, — «Ты понимаешь, Галуся, что это значит?» Нет, я не понимаю. Я тупая, оскопленная тварь, я талдычу про свое. А вечером нам уезжать, и я тороплю время, чтоб успеть завтра поменять так не понравившееся мне название.

Когда мы в Москве подошли к двери своей квартиры, там вовсю надрывался междугородный телефон. Я успела к нему. Я не поняла хриплого, какого-то чужого голоса отчима. Он повторил дважды: «Валя умерла». — «Но мы же были вчера!» — сказала я глупость. «Она умерла сегодня утром».

Через несколько часов мы с теткой ехали той же дорогой назад. Позвонила ли я в «Юность»? Не помню. Кажется, это сделал муж. Но все это не имело уже никакого значения. Было ощущение абсолютного одиночества в мире — только я, и сейчас придут за мной. «Мне поехать с тобой?» — спросил муж. «Нет», — сказала я. Мне не нужна была его поддержка, его помощь; это отчаяние из тех, с которым ты один на один, его нельзя разделить с другим, — это отчаяние не просто смерти матери, это отчаяние собственного предсмертья. Это можно назвать встречей с Богом, конечностью бесконечности, но это мои сегодняшние слова, и они, в сущности, не способны ничего сказать о том поезде, в котором я ехала к маме, мною вчера незамеченной, о вагонном чае, который я пи-

ла, потому что вдруг остро захотелось чаю, и я, стыдясь живых желаний, цедила его сквозь зубы.

В конце концов это проходит. Что не проходит никогда — это сознание открытых перед тобой дверей, потому что ты — следующий.

— Ты пришлешь мне журнал? — кричала мне мама, когда я уже попрощалась с ней.

— Конечно, — сказала я. — Как же иначе?

А вот так иначе: адресат выбыл навсегда, не оставив нового адреса.

Мама умерла в июле, а в сентябре вышел журнал. Письма от читателей пошли сразу, практически на следующий день. И этот колокольный звон вопросов «жив — не жив» вернул меня в живой сумасшедший мир. Не надо думать, что реакция была однозначной. Отнюдь! Меня больно били за восхищение незрелыми чувствами. Меня смешил этот ботанический подход, будто не бывает оглушительных чувств даже у двенадцатилетних.

У меня развился острый ларингит от многочисленных споров на эту тему, время от времени он достает меня и сейчас, и тогда я вспоминаю, как на одной встрече в педучилище я была так бита, что сопровождавший меня не помню кто из начальников «Юности» тихонько смылся на словах, что училище пишет письмо в ЦК КПСС, чтобы там приняли соответствующее постановление по поводу порочной повести.

— Как можно писать, что у девочки были трусики сорок второго размера? — кричала на меня не то завуч, не то директор.

— А какие должны быть трусики? — осипшим голосом спросила я.

— Их не должно быть совсем!

Зал засмеялся, но суровая дама была боец-панфиловец и слова «назад» не знала.

— Их нельзя упоминать! Это позор — писать о трусах!

Как еще далеки мы были от прокладок, памперсов, презервативов и прочих, оказывается, остро необходимых деталей жизни.

Меня тогда удивило одно: дети дружно поддерживали начальство. «Какие сволочи!» — думала я о них. Только одна девочка сказала, что ей понравилась повесть, но на нее так зашикали, что она села сама не своя, побледневшая до синевы.

Но это был не конец встречи. Конец был удивительный. Оплеванная читателями, грозившими «Юности» постановлением типа «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», я пошла искать свое пальтецо, висевшее где-то в глубине раздевалки. Я была так удручена и растеряна, что долго не могла его найти, и просто не заметила, как оказалась в шатре из плащей, пальто и зонтиков. Это меня окружили только что осуждавшие повесть дети. Они совали мне цветы и, тупя глаза, признавались, что таковы были указания дирекции — бить меня в сплетение, насмерть, и чтоб никаких там «ах» и «ох» не было, автор должен уйти пристыженным и прибитым, дабы впредь никогда и не садился за письменный стол. Дети проводили меня до метро, сто раз благодаря за повесть и крича «простите нас».

Как смешно и глупо. Детская любовь оказалась опасной для власти. И я сейчас думаю, что это оттого, что в то время она уже чувствовала свой конец. Он был непонятен и, видимо, очень страшил, если их пугали даже детские трусики. Это же каким чудовищным представлялось грядущее время, которое где-то там, но уже есть и движется, движется на них...

Сейчас я перескочу вперед. Уже вышел фильм, и начался второй бум славы «Вам и не снилось». И мы снова ходили на встречи, уже с Фрэзом, и ему, бедняге, приходилось объяснять, почему в повести герой погибает, а в фильме нет. Мое колено тогда ловко выдало одну только фразу, которую просил Полевой, и конец стал не-

определенным. И многие всё поняли — что именно было в замысле у автора. Кино же — штука наглядная. Тебе не рассказывают — показывают. И кино показало мальчика, конечно ударившегося попкой, но сумевшего приподняться к любимой девушке абсолютно живым.

Фрэнз честно говорил, что он любит хорошие концы, чтоб все были живы и целы, жили долго и счастливо.

И вот с этим хеппи-эндом мы были званы на встречу в ЦК лично к мадам Черненко, тогдашней «первой леди». Время эпохи было совсем на исходе. И нам — уже в последний раз — была сказана суровая главная правда о нашем фильме, о его подспудной заразе.

— В нашей стране, — сказала мадам Черненко, — не врут. Ни родители, ни учителя, ни тем более дети. У вас же в фильме врут все. И это вредный, позорящий наше общество фильм.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, а ведь мы шли за пирожными и чаем, за лаской и нежностью власти. А получили по мордам. Наврали мы, оказывается, целый фильм про то, что мы врем, а мы невручие, мы правдивые, как Ленин.

Но в этот раз мне почему-то было весело. Так защищать образ лжи можно только отрубленной головой. И я сказала себе: ну его, это государство с его мелкими деревенскими хитростями. В жизни есть все — трусики, ложь, правда, верность, измена и обязательно смерть, сразу или потом. Пройти надо через все. Ничего нельзя выкинуть, тогда жизнь обязательно кончится раньше времени.

...Волею обстоятельств, перемен мест работы мы снова через много, много лет оказались в Мамонтовке, где писалось «Вам и не снилось», на том же «спецучастке», но уже в другой исторической эпохе. Не было уже той полевой кухни, куда мы ходили с судками за супом харчо, почила в бозе старая ленинская гвардия, следящая за вырезами у сарафанов. Наши собачьи будки были сроч-

но отделены друг от друга сеткой-рабицей. Это торжественно приватизация. (Но я не хочу повторять то, что есть в повести «Мальчик и девочка».)

Осталось несколько примет времени «Вам и не снилось». Например, липовая аллея, которую старательно уничтожали строители заборов, а липа своими соками старалась возбудить в людях любовь. Но боже, как не годилась она тамошним мальчикам и девочкам. Они пили пиво из горла, курили на глазах у родителей, и не только сигареты. Ходили полуголые, демонстрируя трусы всех размеров. Девчонки выпячивали грудки вперед, идя навстречу богатеньким строителям новых дач, и без стыда опускали перед ними лямки лифчиков.

Я пыталась понять эту полуголую компанию, но они нагло и насмешливо смотрели мне в лицо. Свободные от предрассудков старых теток времени судков.

В возвращении в старые места (где я села писать новую повесть) есть опасность открытий, которых ты бы не хотел. Ты идеализируешь место молодости, а выясняется, что и раньше здесь было все так же. И тридцать лет назад девочки ошпаренно выбегали из кустиков, не подтянув трусов, если кто-то приближался. И девчушка пятнадцати лет, подружка моей дочери, зарывала в землю записки, написанные печатными буквами: «Хочу е...я». На спущенных лямках внучки и записках ее ровесницы тридцатилетней давности разрубленное на куски время сомкнулось. А тут еще эта липовая аллея. Что только с ней не делают, а она стоит стройно и гордо.

Не хватало только юного мальчика, похожего на того, из знаменитой повести, над которой рыдал суровый Советский Союз. Но ведь он был не мамонтовский. Как говорится, он был «из моей головы».

Он вырос из каких-то всплывших на поверхность слов, как всплывают топляки, из запаха козьего стада, которое я, девочка-дошкольница, сопровождала, когда молодых козлят первый раз отправляли на пастьбу. И был там подпасок, с уже выбивающимися над губой черными

волосиками. Нет, никакой детской влюбленности. Я была любопытна как сорока, наблюдая, как он бьет пастушьим бичом, попадает себе на ногу, а потом скачет на одной ноге и воет по-собачьи. Мне было интересно, что он неграмотен. Это был такой же для меня изъясн, как если бы он был слеп. Но он был зрячий. Несмотря на все, мы были друзьями, и он вытаскивал из моей пятки огромный шип колючки. И, послунив подорожник, прикладывал его к развороченному булавкой месту.

Вот, видимо, из всего этого сора я «зачала» Романа Лавочкина, способного ради любви прыгать из окна, а не карабкаться вверх по трубе.

В это же лето я бдительно следила за внучкой, а сама исподволь высматривала — остались ли такие? — мальчика, достойного моего прежнего героя, не курящего, не пьющего, не матерящегося. Увы, вокруг таких не было.

Но однажды по колдобистой дороге мимо наших ворот и далее по аллее проехал на велосипеде мальчик. Он держал педали на тормозе — дорога шла вниз, его внимание было сосредоточено на колеях от машин, на упавших с этих машин кирпичах, и я успела увидеть только удивительно чистый профиль и вихор на лбу. Я проследила, как он возвращался назад, уже налегая на педали и даже приподнимаясь на седле, слегка зарумянившись от напряжения. Он проехал мимо, не повернув головы, и больше я его никогда не видела. Но много и не надо было. Я его уже поселила в повесть, у которой не было даже намека на историю.

Но рабицы вдруг встали иначе, из соседнего домика вышла злющая девчонка-соседка с авоськой и пошла по тропинке, которую знали только свои, — она шла мимо моей дачи прямо на базарчик, который оприходовал себе место возле автобусной остановки. Мальчик с дивным профилем никак не сочетался с девочкой с грубым лицом, но сочинение уже наматывалось на хлипкий стержень, временами нить рвалась, и я не могла ее найти. И приходила простая мысль: я занимаюсь пустым делом.

Но когда я так подумала, внутри меня возникла мелодия. Та самая, рыбниковская, которую я услышала в первый раз дома у композитора, замерев от восторга. Я подумала тогда подлую для фильма мысль: неужели композитор отдаст нам эту красоту? Разве стоим мы этой мелодии небес? Он был щедр. Он отдал. Придав фильму особую высоту.

Профиль мальчика всколыхнул во мне эти звуки. Он стал моим, и ему нужна была история. Тот, первый, что карабкался по водяному стоку, был мой сын. Этого же я не знала, он просто проехал мимо. Увидь я его еще раз — кто знает, стала ли бы я писать, не забыла ли бы прекрасное видение через неделю, две... Но я его больше не встречала. Я придумывала ему родителей, друзей, придумывала — естественно — и любовь. Пошлые девчонки, которые визжали на участке, ему не годились. И я пустила дело на самотек. Волей придуманной матери я отправила его со скарбом на дачу. Я поселила его на своей территории, превратившись в подглядывающую ворону, которая по утрам всегда стучала когтями по нашей крыше. Ну-ка, мальчик, придумай мне историю про себя, а я на нее посмотрю.

И самодвижущаяся тележка повести тронулась с места. Но это была не просто история о любви. Она была и о ненависти.

У Романа в жизни, в сущности, не было выбора между добром и злом. Он отверг зло сразу — дитя времени без терроризма, несправедной войны и просто космической озлобленности между людьми. Мой новый мальчик был взрослее не по годам — по мыслям его времени. Он видел, что папа глуповат, а мама вздорна, и, возможно, временами ему хотелось умереть, так несимпатична и фальшива была вокруг жизнь. От девочек с опущенными лямками его тошнило, от банальности речей в доме закладывало уши. В этот момент отвращения его и настигло то, что настигает каждого, — желание любви.

Инстинктивно он начинает понимать, что должно быть нечто, что способно опрокинуть этот отвратительно фальшивый мир. И он полюбил брошенную собаку. А она раскрыла его наглухо запертое сердце. И мне — вороне на крыше — уже было ясно, что это только начало, следом должна явиться женщина. И она явилась. Не полуголая девчонка, что бродит вокруг дачи и пальцем расковыривает проволочные ячейки забора, чтобы подглядывать. Не принимая это пошлое сегодня, он увидел женщину из другого времени. И уже этого было достаточно: есть куда бежать истории любви.

Но негоже пересказывать сюжет повести, которая лежит перед вами, в которой герою предстоит куда более сложный выбор, чем тот — между ложью и правдой, — что погубил мальчика из повести «Вам и не снилось». Здесь выбор — между смертью матери и собственным счастьем, между ненавистью и любовью. Не вопрос для большинства сегодняшних лихих мальчишек. Они сразу выберут кастет или что-то вроде. Но неразрешимый вопрос для мальчика с велосипеда, который проехал по липовой аллее.

Мне казалось, что выбор, стоящий перед ним, куда круче, чем в первой повести, это вам не сумасшедшая ленинградская бабушка и безумная от ревности мать.

Время, поставившее куда более острые вопросы, сделало и другое: оно стало старательно разучивать всех нас читать. Повесть «Мальчик и девочка», как ни прискорбно, осталась, в сущности, мало прочитанной. Публикация в «Новом мире» — величайшая честь по прежним временам. Но разве теперь его читают молодые? Издательский тираж — куда ему до многих миллионов старого журнала «Юность»? Библиотеки? Про них я ничего не знаю. Вот почему я согласилась соединить вместе две повести: прославленную и залюбленную — и скромно прошедшую мимо. Поработай, «Вам и не снилось», паровозиком для младшей сестры. Милый инфантильный Роман, готовый умереть за любовь, и другой, спасаю-

щий от смерти мать, и влюбленную в него девочку, и бездомную собаку, а главное — себя, свою взрослость, свою уже мужскую честь, свою невозможность совершить предательство.

А главное, две любви — к матери и женщине, и невозможность выбора, ибо тот, кто начинает выбирать, постепенно становится негодяем. А мой герой как был прекрасен, катаясь на велосипеде с крутой горки, так и остался им.

Может, именно о таком мальчике и мечтал храбрый солдат Полевой, но в то время их еще не было. К сожалению, сильных и умных рождает сильное время. И хотя мне не нравится застой, а жестокое сегодня мне еще омерзительней, нас спасут чистые дети глупых, запутавшихся, истерических родителей. Другого поколения взять неоткуда. И будущее, как стихи, вырастет из сора.

Я уже не доживу до нормального времени — без злобы, пластита, вороватых начальников, фальшивой власти и голодных стариков. Не доживу до времени порядочности. Но хотя бы умереть с надеждой, что мои внуки не будут ненавидеть ближних и дальних, мне очень хочется.

Мальчики вы мои родные! Девочки мои красавицы! На вас уповаю.

Галина Щербакова
2004 г.

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Таня, Татьяна Николаевна Кольцова, уже восемь лет не была в театре. Билеты, которые возникали то стихийно, то планово, она сразу же или в последнюю минуту отдавала. И успокаивалась.

А тут не спасешься — ее бывший театр пригласили на гастроли в Москву. Это — о-го-го! — какое событие! Она знала: там, в театре, уже готовят представление к наградам и званиям, сшиты новые костюмы, актрисы срочно красят волосы в модный цвет.

Возбужденные, все в ожидании необыкновенных перемен, с блестящими глазами, бывшие подруги нашли ее в Москве и категорически заявили: не придет на премьеру — вовек не простят...

— У нас такая «Вестсайдская», что вам тут не снилось...

«Не спасись», — подумала Татьяна Николаевна.

Целый день она ходила сама не своя. Идти в театр, где началась и кончилась твоя карьера, идти, чтобы переживать именно это, независимо от того, что будет происходить на сцене, а потом говорить какие-то полагающиеся слова, и вместе сплетничать после спектакля, и отвечать на тысячу «почему»...

«Ведь школа нынче — ужас! У детей ничего святого! Неужели не было более подходящего варианта? Это что, жертва?»

Таня заранее знала все эти еще не произнесенные слова. Но дело было даже не в них. Ей действительно не хотелось идти в театр. Не хотелось смотреть эту потрясающую «Вестсайдскую», стоившую Таниной подруге Элле переломанного ребра: они там по замыслу режиссера все время откуда-то прыгали.

— Ничего, срослось как на собаке, — сказала Элла. — Но я теперь не прыгаю. Я раскачиваюсь на канате.

И говорилось это так вдохновенно, и было столько веры в этот канат, и прыжки, и в «гени-аль-ного!» режиссера, что Таня подумала: с тех пор как она стала учительницей, такая самозабвенная детская вера ее уже не посещает. Умирая, мама ей говорила: «Мир иллюзий тебя отторг. На мой взгляд, взгляд старой рационалистки, это не так уж плохо... живи в жизни... А школа — это ее зерно. Всегда, всегда надежда, что вырастет что-то стоящее... Не страдай о театре. Ты бы все равно не смогла всю жизнь говорить чужие слова...»

Мама умирала два месяца, и таких разговоров между натисками боли было у них немало. И мама все их отдавала Тане. Ломились к ней ее коллеги по научной работе, ее аспиранты, соседи — не принимала. Объясняла Тане:

— Я тебя так мало видела. Это у меня последний шанс. Мое счастье было в работе. Это не фраза. Это на самом деле. Что такое модные тряпки, я не знаю. Я не знаю, что такое материнство, — с трех месяцев тебя растило государство. Я не путешествовала, не бывала на курортах, не обставляла квартир гарнитурами, я ни разу не была у косметички. Мне даже любопытно — это не больно? Все беременности были некстати — не сочетались с моим делом. Я даже не плакала, как полагается бабе, жене, когда разбился твой папа. У меня на носу тогда была защита докторской. Поверишь, в этом

была какая-то чудовищно уродливая гордость: у меня несчастье, а я не сгибаюсь, я стою, я даже иду, я даже с блеском защищаюсь...

А Таня видела: она и сейчас гордится этим. В маме это было главное — преодоление всего, что мешало ей работать и ощущать себя большим, значительным человеком. И как ни тяжело было Тане, как ни любила она маму в эти последние дни, мысль, что и теперь своими иронично-афористичными речами мама прежде всего сохраняет себя, а уж потом хочет что-то разъяснить, приходила не раз. И тогда она мысленно спрашивала: может, именно в маме умерла артистка? А она ее так жалко, бездарно подвела, не сумев сделать то, что предназначалось ей? И утешает мама сейчас себя, а не ее, неудачницу? Иначе зачем так настойчиво? С такой страстью?

— ...Какая ты Нина Заречная? У тебя же аналитический ум и ни грамма рефлексий. Ты антиактриса по сути.

Мама утешала и утешалась. Ведь тогда прошел всего год, как Таня ушла из театра. И последние слова мамы были: «Живи в жизни».

И все было нормально эти семь лет, пока не свалился на голову театр из прошлого со своей «Вестсайдской историей». И мама вспомнилась в связи с ним. Она же: «Не ходи в театр, плюнь! Пока не освободишься от комплекса. Читай! Это всегда наверняка интересней — первоисточник, не искаженный чужим глупым голосом».

Родилась спасительная мысль — раз уж идти, то она возьмет в театр свой класс. Правда, она его еще не знает, ей дают новый, девятый. Но уже конец августа, списки утрясены, через ребят, которых она учила в восьмом, можно будет собрать человек десять. Убьет сразу двух зайцев. Посмотрит «на материал», с которым

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Г. Щербакова.</i> На вас уповаю	5
ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ	25
МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА	125
ДВЕРЬ В ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ	255

Щербакова Г.

Щ 61 Вам и не снилось : повести / Галина Щербакова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 352 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-09396-6

Всероссийскую славу Галине Щербаковой (1932–2010) принесла повесть «Вам и не снилось» — признанный бестселлер восьмидесятых, за которым последовало множество прекрасных книг о любви, ведь, по мнению автора, только любовь придает смысл этой жизни. А еще о дружбе и предательстве, о сложных переплетениях судьбы, о людях, которые не сдаются и продолжают искать свое счастье, несмотря на все преграды и испытания. Помимо знаменитой «Вам и не снилось» в настоящий сборник вошли также повести «Мальчик и девочка» и «Дверь в другую жизнь» — трогательные, мудрые и удивительно современные.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ЩЕРБАКОВА
ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ

Ответственный редактор Екатерина Дубянская
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Валерий Камендо, Елена Шнитникова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 12.01.2018.

Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 15,51. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-VAK-17419-03-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/